

Василий Васильевич Розанов

ЕСТЬ ЛИ «НАУКА» В РОССИИ?

(К академическому «заявлению»...)

Академия наук — есть.

Восемь университетов — есть.

Четыре духовных академий — есть.

Да. Но это пока тринадцать кирпичных зданий, которые так же нельзя назвать «наукою», как «казармы» нельзя назвать «армиею».

Есть «штаты Академии Наук»... «штаты университета», «штаты духовной академии»... Но пока это — бюрократия. Служа в контроле, я как-то увидел «вновь учреждаемые штаты» небольшой службы. Знаете, что такое это было? Я ужаснулся: лист превосходной бумаги, расчерченный вертикальными и горизонтальными линейками, между которыми, превосходным спокойным почерком, было выведено:

*класс должности,
причитающееся жалованье.*

— «Nos modo mundi nascuntur», «так рождаются миры», — прошептал я, глядя со страхом на лист. — «Ведь вот, в самом деле — *родилось*; и будет существовать или будет мозолить глаза, пока не будет благоугодно написать такую же вновь бумажку, но с обратным смыслом: «сие *упраздняется*»... Может существовать три года, тридцать лет, век. Историк скажет: «Вековое учреждение»... И, может быть, это было вековое «просиживание стульев», — порча мебели, стальных перьев, бумаги и порча воздуха в канцеляриях...

Доселе — Акакий Акакиевич: но, переходя от примеров к делу, — где же *наука*?

Медицина, конечно, есть: потому что, хорошо или худо, в России лечатся и потому, что были... не говоря о меньших, Иноземцев, Пирогов, Боткин, Захарьин. Т. е. были сильные своеобразные умы в ней, каждый — с упором в себе, силою сопротивления и силою самоутверждения, с гордостью и достоинством, с *традициею*, с *духом*; со «школою» в себе...

Где есть *школа* и *традиция* — есть и наука. Это вообще, однако, явно, что «медицина» есть лишь тоненькая одиночная веточка на «дереве знания», так же к нему относящаяся, как Гиппократ — к Аристотелю. Странно их сравнивать, странно их помещать в одну линию: «медицина», даже и с *духом* и *традициею*, может быть там, где *науки* *вовсе не существует* и нет самой ее *идеи* и *существа*. Просто это есть *вековое лечение*, *вековое присматривание*, как «лучше и лучше лечить», с обстановкою приемов, методов, с воспособляющими подробностями... Могут «лечить в стране» превосходно, строго, «в уровень с Европою», — и, тем не менее, во всем этом только еле-еле может брезжить зародыш кое-чего, а не в самом деле *крепкая и цветущая ветвь науки*... Вот если бы мы имели Клода Бернара или Пастёра, то имели бы эту «крепкую и цветущую *ветвь науки*». Отчего? Тут содержался бы *метод*, *теория*. И Клод Бернар, и Пастёр созидали или

вообще работали в некоторой *основной науке*, а не в *производной науке*. Медицина — очевидно, *производная наука от биологии*. Но великого биолога у нас не было; и биология не существует у нас иначе, как в *переводах и компиляциях*. «Медицина» в России есть; но о «биологии» в России странно говорить, потому что ее явно нет. И, заметьте, соответственно этому нет *традиции и школы* биологии, нет «духа» биологического. Нет и не было Биша, Петтенкофера, Гельмгольца. *Света на весь мир наук об организме — из России никогда не было брошено.*

Мечников, с его *теорией фагоцитов*, есть единоличное и исключительное движение сюда, в сторону *великих обобщений*, кладки основоположного *фундамента*: но, увы, он почему-то жил и работал и *сделал все свои* открытия, пришел ко всем своим *новым мыслям*, — за границу. Можно думать, — под одушевлением того стихийного тысячелетнего дуновения вообще научного духа там, — всего мира наук, всего их «круга», — какой родился у арабов в Испании и не кончился сейчас в Берлине.

В России (и везде) сейчас и почувствовали особый смысл и особое положение Мечникова. В науке важно сделать не *открытие*, а родить такую *мысль*, из которой рождались бы потом «открытия» неопределенно далеко и долго... Вот такая «мысль» кладет начало «науке»: а множество «открытий» и «изобретений», будучи практически ужасно важно, наконец, представляя собою вечный *материал* науки, не имеющий когда-нибудь умереть, потерять важность и ценность, — тем не менее не образует ни капли собственно еще *науки*.

«Рецепты» составляются превосходно, «лечатся в стране» — отлично: но первый шаг *биологии* сделан в лице Мечникова, который, может быть, не вылечил ни одного больного.

Наука есть *мысль*.

Наука есть *метод*.

* * *

Как около «больных» наконец явился Мечников, так около множества заводов, фабрик, техники, горного производства и т. д. и т. д., около всего этого *мира движения веществ и переформирования веществ* родился, к исходу второго столетия, *Менделеев*: и тоже вся Россия почувствовала, что его место совершенно особенное, параллельное Мечникову и не параллельное «открывателям» и «изобретателям», не параллельное великой «рецептуре» мира человеческих знаний. «Писать рецепт» не то, что бросить «новую мысль»: из «рецепта» получится единоличное излечение; из «мысли» получится множество «рецептов». Мысль - «батюшка» всего в науке. И вот таких «батюшек» мы можем назвать почти только двух у нас: Мечникова и Менделеева.

И «батюшки» есть в русской истории и филологии: общее — *в русизме, русской этнографии*. Слава Богу, хоть «Россию»-то русские «обдумали». Тут нам «не у немцев учиться»... От Карамзина до Ключевского; от Киреевского до Ламанского мы имеем десятки светлых умов, в вековой преемственности обдумавших «русскую этнографию». — «Тут нам Иеринга не надо».

Все эти «батюшки», однако, — втором порядка: «отцы семейств», но не «родоначальники племен» и не основатели «великих городов», подобных Вавилону или Риму. Такие «деды науки» - Аристотель, Платон, Декарт, Ньютон, Бэкон, Гегель. Они уже не *рождают* из себя какую-нибудь одну *науку*, а рождают

циклы наук, оказывают давление или одушевление на весь круг наук своего времени, с возможностью даже новых наук потом и за ними, но вследствие их. Аристотель или Ньютон тоже в сущности, что Ромул или Карл Великий: они родили «царства духа», как те основали политические «царства», с линией преемников, династий. В сущности — это уже планетные духи, планетные умы. С ними «земля выросла», «земля зреет». Обнять их взглядом, от пяток до головы, невозможно, трудно: это — ослепительное зрелище, от которого ум кружится.

Такого ума ни одного не дала Россия.

Ни одного!.. Странно произнести — но *ни одного*. И так как все усваивается в национальных, этнографических гранках, то русские несчастным образом не имеют самого ощущения, самого постижения того, что такое «ум человеческий» в его полном, не преуменьшенном, не карликовом значении, характере, сиянии.

— У, чудище... Как от тебя страшно... Как с тобой хорошо...

Что такое «ум человеческий», можно судить из примера Декарта, который 22 лет и будучи офицером в тридцатилетней войне; пришел к мысли «аналитической геометрии»: и не разрешимые до него никакими способами, никакими умами, никакою наукою «геометрические задачи» и «геометрические вопросы» и «построения» начали разрешаться с легкостью, быстротою и удобствами, как разгрызаются грецкие орехи. «Никто не может разломить камень», — говорят стоящие Геркулесы, с молотами, ломами; пришел, в сущности, мальчик, пошептал, подул — и камень раздвоился. Чудо. Ангел. Это ангельская, — ангельская и демоническая, — форма ума.

Все «Манфреды» и вообще поэтические воплощения демонизма, — Манфреды и Мефистофели, — можно сказать, носа высморкать не умеют около этих настоящих чудищ истории, чудищ могущества природы рождающей... Науки у них просто сыпятся из головы, готовые, с изяществом... Ньютон открывает дифференциальное исчисление: и десять лет не вынимает из стола бумаг, чтобы напечатать. Только когда то же исчисление вдруг открывает Лейбниц, — он опубликовывает и свое открытие. А раньше уже его применял к астрономическим теориям и доказательствам.

Подумать только, что «периодический закон» завалялся у Менделеева в хламе кабинетных бумаг, и он, за занятостью другими открытиями, *все своими открытиями*, говорит об опубликовании его: «Некогда и не стоит — у меня более важное на уме».

Это — такая роскошь, такое богатство, что не умеешь выразить словами.

«Дохнул» — и «наука»..

Или Бэкон: первый министр королевства, приближенный короля. Кажется бы, «некогда»... В своем роде «Витте» того времени... Но это «виттеводство» было только частностью его биографии, до того несущественною, что он даже «взятки» брал, не различая, куда кладет, в свой карман или казенный. — «Все равно», в «мировой карман». Это — просто неряшество философа, ибо не в «обстановке» же для «приемов» он нуждался. Он зарылся, *будучи министром*, в положение наук своего времени, в положение *ее методов*; он изучил и распределил на *категории* самые заблуждения наук, господствующие *научные предрассудки*, суеверия мыслящего ума, его безотчетные, невольные и ошибочные тяготения... И, произведя огненную критику этих форм человеческого заблуждения, зачеркнул все сущие при нем науки и из своей дьявольской башки извел неопределенно длинный ряд совершенно

новых наук, до того далеко идущий, что множество из «пожеланий» Бэкона, его предположений и мыслей — не осуществлено и не разработано даже до нашего времени! Все знание своего времени *«похерив»*, он начал совершенно новое знание, с новым в себе методом, новым одушевлением, с совершенно новыми задачами, с духом вот теперешних наших фабрик и заводов, это... *после споров*, даже еще *среди продолжающихся споров* о том, «сколько ангелов может уместиться на острие иголки»...

Представьте себе, ментальное и в одном уме, перерождение киевского Патерика в «Учебник химии» Менделеева. — «Невозможно», — завопит каждый.

«Невозможное для человека возможно для Бога»: и Бог повелел быть Бэкону И он сразу, в одну свою жизнь, провел *дух* ее, *запах* ее, *смысл* ее, *вкус* ее, как бы от Антония и Феодосия Печерских до Бутлерова и Менделеева. Я не об «открытиях» говорю, которых у Бэкона не было ни одного. Но этот великан взял и переставил «пекинский дворец богдыхана» на Сену, а «Париж» — к Печелийскому заливу.

Как же ему было взятку не брать? Смешавший небо и землю мог смешать кошельки. Его судили. Очень глупо. «Боги» законов — не знают. Судить «Бэкона за кошелек» — то же, что судить Шекспира за то, что, «сверх законной жены», он «раз увлекся барышней на паперти собора»...

— Но я сам собор построю, — мог ответить Шекспир.

— Но мое «*Restauratio magna*» — даст Англии больше богатств, чем сколько их было во всей Англии за время моей жизни и царствования моего короля, — мог сказать Бэкон.

И вот если около этих умов поставить, положим, «трепет Белинского», воспетый в стихах и прозе, то при всем «отдании ему чести», особенно невольном в юбилейный год, — как не сказать, однако, что все это были «куриные трепетания», страшно маленькие, страшно бедные, страшно неинтересные, нелюбопытные и никому решительно, кроме гимназистов, не нужные. Просто — нет идей. Нет — головы. «Не выдумывается»... Слог легкий — а больше ничего. И если инквизиторски приглядеться к нашим «корифеям», колесницы которых торжественно прокатились по литературе, и о них в национальном славолубии мы уже понаписали гору книг, то, право, это определение: «легкий слог» — так и захватит их всех, и мрачного Добролюбова, которого пугался Тургенев, и даже всеобъемлющего Герцена. «Всего коснулся» легким словом, этим остроумным, светлым, как лесной ручей, словом: но, однако, именно — *словом*, и только.

Дитя Писарев это пренаивно и выразил, в своей «Университетской науке», рассказав историю своих диссертаций. «Мне хотели, в совете профессоров, дать золотую медаль, а моему товарищу — серебряную. Товарищ представил основательную работу, я же предмета диссертации совсем не знал. И только когда в совете кто-то указал, что, по правилам о диссертациях, последние служат для удостоверения *в знаниях*, у студента же Писарева ничего нет, кроме *хорошего слога*, тогда как у его товарища видна начитанность в предмете, знакомство с литературой предмета, — то дали *ему* золотую медаль, а *мне* серебряную». Так он рассказывал, не догадавшись продолжить мысль:

— С тех пор мы все и пишем хорошим слогом, — я, Добролюбов, Чернышевский, Шелгунов... Публика, однако, не разбирает, как и тогда профессора: и всем нам выдает золотые медали, возводит нас в ранг

исторической многозначительности, хотя сами по себе мы просто только писатели хорошего слога.

Но никто себя «в зеркале не увидит»: и только всем другим подставляет зеркало. «Там все тупицы Креозотовы», — блистал ядовито Писарев о профессорах, не замечая, что между *ними и им* только и лежал «хороший слог»...

Но литература как-никак все-таки хоть гимназистов учит; «хороший слог» все-таки распространяет грамотность. Но университеты и в самом деле «наука»?.. И, наконец, Академия Наук?

Да вот, что же: ругали 20 лет Иловайского, но ни один профессор не мог написать *лучше Иловайского* даже учебника для гимназий... И не то чтобы «профессору стыдно писать учебник»: ведь «Основы химии» Менделеева — учебник же. Нет, тут не в «стыде» штука. А в чем же? — Не умеют.

«Не умеют» — и баста. Просто, не умеют изложить «Рюрика, Синеуса и Трувора». Невероятно, но факт. *Теперь* есть уже учебники, помимо Иловайского. Но еще 30 лет назад ничего не было, кроме Иловайского, и после него сейчас — Карамзина. Дико и страшно сказать, но университетские профессора не умели просто излагать обыкновенным, не очень отвратительным языком общеизвестных вещей; и не умели «составить книгу», так сказать, из пропорциональных частей, в пропорциональных формах, во сколько-нибудь неотталкивающем виде.

Вы думаете, что я лгу, будто «не умеют излагать». Проверим, кроме Иловайского, на других примерах. Порежем алмазом там и здесь стекло.

Историй философий, тоже до последних 10-15 лет, ни одной: кто же не помнит, как все мы захлебывались томиком Льюиса, т. е. в сущности популярным учебником, только написанным не для класса, а для «домашнего чтения». Вот для «домашнего чтения» наши профессора ничего не умеют изложить; не умеют составить книгу, гармонизовать книгу. В пору своих учебных лет, т. е. все-таки недавно, лет 20-30 назад, я ощущал живую потребность и живой интерес ознакомиться с историей философии в биографиях философов и в изложении философских учений, в размерах приблизительно на два, на три, на четыре тома (от Фалеса до конца); и, без сомнения, юношей с этою потребностью, в восьми университетских городах, было не тысячи, а даже десятки тысяч. И что же: не было ничего, кроме однотомных, т. е. уже совершенно коротеньких, вроде Иловайского, книжек: вот — Льюис, потом — Целлер, потом — Шwegлер, потом — какой-то француз, но не из Парижа, а страсбургский профессор, и еще в этом роде: все — «Иловайские» переведенные. Что же русские профессора делали, что же совершали наши университетские кафедры, около которых толпились все-таки иногда любознательные студенты? Подумайте: тридцать лет службы у каждого. В тридцать лет можно много сделать. Если не Акакий Акакиевич, то в тридцать лет мало ли что сделаешь. Ну, в пять лет можно написать томик, а за тридцать лет можно написать шесть томов. Если прибавить пятилетие «пенсии», когда человек еще не дряхл, то явно, что каждый из профессоров восьми университетов мог дать русскому образованному обществу, своим слушателям и решительно со всех сторон оплеванной России: 1) трехтомную «Историю философию», вот с биографиями и изложением учений, 2) изложение логики, 3) изложение психологии. Из восьми профессоров, «процветающих» (термин историй философии) одновременно и

параллельно, мог бы дать кто-нибудь, — ну если не в одном поколении, то в следующем. Но «гений» русского университета оказался так велик, трепетен, пламенеющ и созидателен, что, вообразите:

Не нашлось никогда и ни одного!!!

Вот вам и «фельдфебеля в Вольтеры дам». Да им и стоит дать «фельдфебель». Чего же они еще-то заслужили кроме «фельдфебеля»? Да «фельдфебель» перед ними — преумница, разумное существо, трудолюбивое существо, должностное существо, с добродетелью Сократа (исполняет «долг»), с честью, совестью, Богом... «Фельдфебель» не спросит себе должности генерала, т. е. опять же он скромное и добродетельное существо. Да посади меня в «начальство», — то я бы этих профессоров задушил цензурой, просто для издевательства, для вызова в них реакции хоть на простое, наглое, смеющееся притеснение. Чтобы они «бились лбами в стену» хоть темницы, — если уж не умеют «стукнуться лбом» о пол храма... Нет, в России было поистине мало «притеснений»: которое жжет, мучит и заставляет говорить. А то этим «котикам на Командорских островах» подложили под бок жалованьице, подложили орденки, мундирчики шитые назначили, «Иванами Ивановичами» называли, в благоустроенном отечестве женок им дали и детишек на казенный счет стали воспитывать. И вот они, дремля и просыпаясь и опять засыпая, бормотали:

— Какая дура Россия... Невежество кругом... Кнут визжит в воздухе... Ай, кнут! кнут!.. Только еще в нас и горит святой огонь Весты... Мы — весталки науки, не дающие угаснуть священному огню на жертвеннике. Без него, без нас в несчастной России все погрузилось бы в полный мрак...

И вот, поворачиваясь с боку на бок, они дали России, за сто лет, трех переведенных с немецкого, с французского и с английского «Иловайских»: Иловайский «от Шwegлера», Иловайский «от Целлера», Иловайский «от Льюиса», Иловайский «от страсбургского профессора».

Что тут особенно глупо и, так сказать, ниже «фельдфебеля» даже *по* уму, то это то, что на том же немецком языке и, напр., у того же Целлера есть кроме *гимназического* учебника, которым "нашими" переведен (переведен *профессором*, притом с большим именем), еще двухтомное, уже *интересное* изложение истории философии — «для чтения и образованного общества». И так как учебники уже были *раньше* переведены «от Шwegлера и Льюиса», то явно следовало перевести эту большую историю... Но нет — дали *третьего* «Иловайского», а книги для чтения и *интереса* — так и нет ни одной...

Только *в самое последнее время*, благодаря «трудоспособности» профессора Высших женских курсов, А. И. Введенского, благодаря заботам московского Психологического общества, благодаря *переводам курсисток*, по указаниям и под руководством того же А. И. В-ского и людей параллельного с ним умственного типа, — в русской печати появилось хоть что-нибудь, кроме «Иловайских» в перефразировках. Право, посмеешься: «С курсистками как-то работать симпатичнее»; и наши «котики» проснулись.

Нет, я бы или задушил наших профессоров цензурой, или романтизировал бы их: никакого другого средства «поднять науку в России» не вижу. «В коммуне с женщинами» по крайней мере стали бы обильно переводить — как это бывало в свое время, — и отлично, что бывало. Иначе —

Скука, холод и гранит.

Много я порицал в газетах профессора Кареева, а теперь приходится хоть поклониться в ножки: заглянул этот год в его «Всеобщую историю», — отдельные

томы, посвященные отдельным эпохам. Оставив «прометейство» и соперничество с «Манфредом», он взялся как бы «за Иловайского»... Это — иносказательно. На самом деле, он выполнил скромное *и самонужнейшее дело* — дать России то, что до сих пор она имела в переводных трудах былых Шлоссера, Вебера и подобных. Ведь это так легко: ведь западные литературы уже все разработали, все обработали, подобрали и систематизировали материалы, изложили «сколько угодно» точек зрения на каждый вопрос, на каждую даже *точку* в вопросе всяком: оставалось быть «исполнительными, как фельдфебель», и, не генеральствуя около «очага Вестъ», смиренно и просто работать и работать для отечества, компилировать и компилировать, излагать и излагать...

Куда!..

— Мы ниже Прометея не можем. Чин не позволяет... У нас чтобы с искрами и с пламенем. Молот стучит, колокол звонит... А если меньше — то мы лучше заснем...

Ходит Спесь надуваючись,
С боку на бок переваливаясь...
Шапка-то на Спеси в целый аршин.
Пузо-то все раззолочено...

Вот и вся «русская наука»... Ни вздохнуть, ни передохнуть в ней. Осуждают духовенство: «Косно, черство». Да наши профессора коснее и черствее консисторских протоиереев.

Нет: в этой *тайне*, что студенчество овладело университетами и, повидимому, скоро будет сечь своих «наставников» или сажать их «на хлеб и воду в карцер», есть свои неуловимые и сверхъестественные секреты... Вспомнишь Гегеля и его «все *действительное* — тем самым *и разумно*», т. е. основательно, мотивированно... Не без «мотива» и это произошло, что юноши сели на головы старичкам, а «науку», или «якобы науку», послали к черту... Все дело и заключается в «якобы»...

Незабываемое впечатление: в Москве ожидался ученый диспут. По обыкновению — запоздала «коллегия» (диспутирующие профессора). Погода была хорошая, а может быть, и «назначенный зал» не отпирали. И вот, прогуливаясь во дворе, вижу: на ступенях «юридического подъезда» (с правого бока, если входить) расселись, как мне показалось, скромные девушки в простеньких шляпках и платьицах. Я их принял за курсисток. Только помню угрюмый студент Пусков сморщился и говорит:

— Что это студенты своих девочек понавели.

Тон не позволял колебаться в смысле. «Что это? Неужели *бывает, случается?*»

Тридцать лет прошло. И вот, поживши и подумавши, и размышляешь:

— А что же: что действительно — все разумно. От *этих* польза небольшая, зато есть явное удовольствие. А от профессоров тоже пользы нет, а уж удовольствия — решительно никакого.

И «секут»... И вытеснила их, бедных, «социал-демократия»... Да что она «вытеснила»-то? Солома лежала. Пришел ветер и раздул солому. Крику много, все плачут: а в сущности, и «убытку» нет...